

1. Начало

Каждый год, когда последний лист серебристого тополя покидает родительские ветви, отправляясь странствовать по свету, мужчины из народа Тяжёлого Топора укладывают вещи в большие мешки с широкими лямками, берут всё необходимое и отправляются из тех мест, где живут, в долину Большого Костра. Путь их различен, иногда занимает недели, иногда несколько часов. Порой они встречаются на пути и сразу узнают друг друга, даже будучи незнакомыми. Тогда они пьют «горькую», делят вечернюю снедь и немного говорят о чём-то неглавном. Наутро они вместе продолжают путь туда, где ветер колышет волны, но нет моря; где полно ветвей, но нет ни одного дерева, где великая река течёт прямо по небу, ночью превращаясь в расплёсканное молоко...

Это место называется Пушта. Все дороги – и земные, и небесные – начинаются там. И с тех древних времён, когда небесный свод ещё вращался вокруг звезды Тубан из чертога Дракона, а не вокруг Альфы Малой Медведицы, как сейчас, мужчины народа Тяжёлого Топора ежегодно зажигают в Пуште общий Костёр, чтобы увидеть друг друга, помолчать о том, что забыто, и вспомнить то, о чём не должно забывать. Так начинается охота на Серебряную Рыбу Судьбы.

Это необычная рыба. В тёплое время года она живёт глубоко под землёй, а с наступлением холодов перебирается на небо и летает там, будучи почти незаметной, лишь оставляя на синей глади длинные белые всплески. Только в Пуште – в единственном месте, где объято взглядом всё небо мира, можно рассчитывать на удачную охоту. От этого зависит выживание нашего небольшого народа.

Поймать Рыбу Судьбы можно только словами. Но слова эти должны быть подлинными, самые настоящие, только те слова, из которых и складывается истинная Правда. А в любой век этих слов немного. И если когда-нибудь таких слов больше не найдётся, мужчины народа Тяжёлого Топора попрощаются в последний раз, закинут на плечи свои мешки с широкими лямками и вернутся в дома, чтоб сказать, что Большой Костёр никогда уже не зажётся снова. Это будет означать, что нашего народа больше нет. В этом заключается наша судьба.

Уже второй год, как отец берёт меня на большую охоту и, как и все, я сижу, глядя в таинственную пляску огненных всполохов Большого Костра. Над нами бесконечное небо, и где-то летает Серебряная Рыба, вокруг меня мой народ, и все мы чувствуем одно и то же тепло. Конечно, в Пуште я ещё ни разу не произнёс ни слова, но сейчас, кажется, я начинаю понимать, в чём заключается эта охота...

Огонь Большого Костра растопил в моей душе какие-то древние льды, и мало-помалу они сливаются в тугой поток повествования, проплывающий перед моими открытыми глазами. Все его слова настоящие. Я понимаю их, и понимаю, о чём они говорят, но не знаю ни звуков, ни знаков, которыми они могут быть выражены. Возможно, они забыты, а, может, не явлены ещё в свет.

Большая охота очень трудна. День сменяется ночью, а ночь снова днём. Мы продолжаем сидеть. Но вот я чувствую, как Серебряная Рыба начинает трепыхаться у меня в душе. Сначала медленно, вызывая образы, которых я ещё не знал, потом всё сильнее и чаще, расширяя внутреннее пространство и делая его огромным. Расширяя его для себя. Долго-долго ещё сижу я, не произнося ни слова, и не веря своему счастью. Но я уже знаю.

Наконец, я поднимаю глаза к бесконечному небу над Пуштой и вижу отчётливый белый след.

Пора сказать:

– Мы соберёмся снова. Я знаю.

И все расходятся.

2. Маки и ирисы

Когда-то давно, когда после долгой зимы, наконец, прояснилось небо, и небесный пастырь вновь гнал свои многочисленные стада по бесконечному голубому морю, земля набухла и наполнялась запахами. В такие моменты в моей семье очередное поколение взрослых обычно рассказывает очередному поколению детей, как когда-то давно прадед деда привёз из турецкого похода красавицу-жену – то ли сирийку, то ли персиянку. Предание говорит, что, когда первые недели солнца высушивали этот влажный воздух, а рога месяца по ночам обращались своими острыми концами направо-вверх, красавица – жена собирала дорожный набор и покидала дом, на несколько дней уходя в степь смотреть, как распускаются маки. Может, эта пора являлась единственным напоминанием об утраченной Родине, может, какой-то древний зов будоражил её душу – никто не знает... Всё красивое всегда заключает в себе тайну. А тайна всегда содержит в себе некую красоту. Мы, дети, подпавшие под влияние этой загадочной были, всю жизнь помня её, как и многие другие наши предания, по-своему пытались найти ключ к этой древней загадке, постепенно становясь теми, кто мы сейчас есть. И эта красивая история учила нас поступать иногда просто по требованию души, не дожидаясь обоснований разума, не страшась руководствоваться неудержимым порывом... Сегодня мне кажется, что нет ничего необычного в поиске прекрасного, в созерцательном саморазговоре одиночества, в щемящей душу ностальгии по утерянному раю детства и в чувствах, будоражащих душу каждую весну, потому что всё это есть пробуждение. А без пробуждения жизнь – лишь тьма. И не важны эпохи, обстоятельства и языки. И ещё мне кажется, что когда-то, когда на жарком Юге в тёмных глазах моей праматери отражалось бесконечное море колышащихся трав, где-то далеко, на холодном Урале, девушка-коми так же спрашивала совета у тишины среди первых ландышей на влажной лесной поляне... А в глубине Русской равнины молодая погружалась в сладкое забытье среди маленьких бутонов таинственной сон-травы, в окружении которой не страшны наговоры, и которая оберегает от дурных помыслов. Чьё имя скоро будет названо над лепестками ромашки? Подарить ли кому свой венок на Ивана Купалу?

Сегодня небесный пастырь так же гонит свои лохматые белые стада в сторону непостижимой вечности. И среди бетона и стеклянного блеска большого города, в небольшом синем магазинчике за синей автобусной остановкой, я беру тугую связку синих ирисов и несу домой, чтоб передать той, которой, может, не рассказывали древних преданий, но которая погрузит в эти бутоны своё маленькое лицо и молча вдохнёт их плоть. И, наверное, вспомнит что-то древнее, что-то очень важное.

3. Истоки

В русском языке слово «хорошо» происходит от старого «хорощь», а оно, вероятно, доносит до нас древнее имя забытого ныне Бога солнца – Хорса (Хърсь). В древнем понимании «хорошо» – это как солнце, а уж солнце – это всегда хорошо... И, как тысячи лет назад повелось в Северном полушарии, так было и в этот день – было и хорошо, и было солнце.

– Дедушка, а что мы просто так сидим? Давай лучше я плавать буду и на следующих соревнованиях точно смогу победить! – заявил семилетий Илья, имея в виду непочётное «третье с конца» место на недавних внутренних соревнованиях его плавательной секции.

Обстановка располагала к плаванию. Дед с внуком сидели на песчаном берегу местной речки, чьё

неторопливое течение не представляло никакой опасности для ребёнка. Вокруг носились ласточки, и уже с неделю стояло уверенное июньское тепло. Природа налилась зелёным соком и спешила разрастаться и жить. Рядом лежали три удочки, однако дед не испытывал желания расставлять их, предпочтя рыбалке молчаливое созерцание.

– Нет такого слова в русском языке. Нельзя сказать «победю».

– А как сказать? «Побеждю» что ли?

– И такого слова нет. Никак не сказать.

– Это почему? Давай придумаем такое слово...

– Не надо придумывать. Не нужны эти слова. Нет ни «побеждю» ни «победю», потому что неизвестно ещё – победишь ты или нет. Так уж в Россиюшке уложено – не загадывать победу. Бедово это.

– Ммм... ну, ясно... А почему тогда есть слово «победим»?

– Ну, так, когда нас много – мы всегда победим, – усмехнулся дед. – Вместе – сила, известно ведь!

Дед в семье слыл чудаковатым, сторонился людей и всё больше замыкался в себе, трепетно относился к словам, сердился иногда ни с того ни с сего. Любил чистоту, но органический мусор раскидывал по палисаднику, а иногда и вовсе – за забор. С годами странновато стал произносить слова – медленно и веско, чётко выговаривая буквы и делая необычные ударения или акценты. Из-за этого его речь стала пахнуть какой-то брутальной патриархальностью и даже язычеством. «В каком-то своём мире живёт... По ходу параллельное гражданство себе на небесах оформил...» – шутил сын.

– Ну, так можно поплавать или нет? – переспросил Илья.

– Давай поплаваем. Так оно лучше.

– Спасибо, дедуль. Мама в жизни бы не разрешила.

– И тебя спаси Бог, внуче. Спаси и сохрани... А мать... на то и мать.

Матери возводят стену перед своими детьми, чтоб их защитить. На пользу ли это? Дед вспоминал сейчас и свою мать, и в общем, затушёванном уже, калейдоскопе воспоминаний она не потеряла ни остроты, ни яркости. Как наяву. Мать – первое существо для каждого человека и первое слово в любом языке... Всё ли они делают правильно? Нет. Но они делают всё, что могут. Мама – свяшенно.

– От меня и по лево, внуче. И далеко не плавай.

– Против течения что ль?

– По течению каждый может.

– Ну, ладно.

«Ладно – суть лад – порядок, устой, согласованность, равновесие», – думал себе дед. Почему согласие выражается этим словом? В противоречии мироустройству согласие не имеет веса? Или как согласие с законами мироустройства? Он глянул на потомка. Потомок, фыркая и хлопая по бокам, медленно входил в воду.

– Холодная?

– Нет, деда... Ты лезь и увидишь.

– Я и так вижу. Холодна.

– И что, не поплывёшь?

– Я и так уже плыву...

– Это где ты плывёшь? – оглянулся Илья.

– По веремени, внуче, по веремени.

Время в сознании деда неизбежно растягивалось в сакральное веремие – что-то таинственное, длинное и бесконечное, похожее на тёмное течение этой небольшой реки, оно неспешно текло из ниоткуда и исчезало в непроглядной дали. «Вервие, веретено – всё это нить», – думал дед. Но веремие, в какой-то точке которого он ощущал и себя, – это нечто большее... Течение, являющееся причиной, началом и концом, порядком и строем. Непостижимое и всеобъемлющее.

– Все реки текут, внуче. Все, – резюмировал свою мысль дед.

– И почему?

– Чтобы быть. Что не движется, то умирает.

– Всё, что не движется, умирает? И я умру, если не буду двигаться?

– Точно.

– А если я всегда буду двигаться, я никогда не умру?

– Всё останавливается рано или поздно, Илюш. И умирает.

– Но почему останавливается? Просто так?

– Просто так не бывает. На всё причина.

«Как иначе?» – думал дед. Причина – это «нечто при чине». А чин – это и есть порядок, лад, способ, закон. Любая причина – следствие закона мироздания. Она не бывает просто так.

– Дед, а сколько тебе лет?

– Много, не помню уж.

– А не умирать сложно?

– Не умирать легко. Жить сложно.

– Это почему?

– Потому что «сложно». Потому что сложить надо много всего, чтобы жизнь получилась. А если не слаживать, то не полная она, больная, жизнь.

– Это когда болеешь?

– Нет. И да.

– Когда бедный?

– Не так. Бедный – это просто когда беда в самом человеке. От малого ума или ещё как... Но и бедам всегда есть причина. А не когда денег нет. Бедными и с деньгами бывают.

Бедный при деньгах. Одинокий в людях... Омут воспоминаний затягивал старика. Он вспоминал себя. Успех, к которому стремился. Что это? Успех – в русском языке само это слово означает «то, что произошло поспешно». Удача – «то, что даётся». Где здесь был он сам? Но казалось, что во всём – личная заслуга. Поэтому пришла гордость. Не зря предки называли её этим словом: «отгородиться», «ограда», «городить» – всё это слова того же значения. Гордость возводит вокруг себя стены и начинает не замечать окружающих. Поэтому за гордостью всегда приходит одиночество – состояние, сложенное в нашем языке из слов «один» и «очи». В этом пустом одиночестве, среди собственных мыслей, силясь объяснить возникшую неполноценность, душу человека неизбежно наполняет разочарование – буквально «разрыв чар», владевших впечатлительной душой. И вот тогда это становится «невыносимым» – то есть, «тем, что невозможно вынести». Из души. Никогда.

– Дед, а я стану богатым?

– Господи спаси, ты и так богат, Илюш...

– Это как так, дед? У нас богатство есть?

– Есть у тебя лично. Да ещё прибавится, если не растеряешь. Вдумайся, богатство – это что Бог даёт. Только не замечаешь ты его пока. Проживёшь жизнь, поймёшь.

Какое ему богатство? Исковеркали суть всего. Думают – деньги! Достаток – это, может, и деньги, но и то лишь столько, сколько «достаточно». Но не «богатство». Деньги точно не от Бога. Никогда не было ещё ни с кем такого, чтоб деньги счастье несли. И будет ведь стремиться, добиваться... А что такое стремление? Быстрота, стрела, стремительно – всё это одно слово. А быстрота редко устойчива. «Стремнина» ведь, пропасть. А добиваться – это и вовсе бить нечто и добивать. Никак, саму жизнь... Вот жизнь нас потом и судит. А мы жалуемся на судьбу. Судьба – это и есть суд. Суд самой жизни. Потому этим словом и названа.

– Представь, Илюш, то есть «поставь перед собой навсегда», что есть Великий суд. Не тот, который в Писаниях сказан, а прямо сейчас происходит. И вот все твои слова и поступки судья взвешивает... Имя судьи, как есть – «судьба». И вот как ты поступаешь, так тебе и откликнется. Ложь – в дрожь. Страх – в прах. Совесть – добрая весть. Честный – чистая честь. И будет тебе и богатство, и честь, и радость.

Внук уже не слышал деда. Взбивая воду, он всеми мыслями был там – на будущих соревнованиях, и в будущей взрослой жизни, чуть ли не знаменитый пловец, готовый броситься и спасти, или выполнить особо важное задание... Река времени всегда шепчет нам о будущем. Но нам трудно услышать её. Может, потому что избегаем тишины...

«Не лги ни себе, ни миру. Не разбрасывай слова, а храни их. Нет их, лишних, пригодятся. Думай над всем, что делаешь. Всегда спрашивай, «почему» и «что» – как молитву, – медленно проговаривал дед.

«Нет лжи и нет вины – наступит свобода», – размышлял он. «Свобода» – суть два слова: «своё» и «бда», то есть «бытие, бдение, пребывание». То есть это пребывание в чём-то своём, а не чужом. Получается, либо принимаешь закон и делаешь своим, либо свой чин создаёшь, который не противу речи лада мира... Будь, Илюша. Дорога свободна, да ценна.

Не так уж всё мудрено. Не такие уж они непонятные – чин, лад и мир. Из года в год род людской размышляет и открывает этот закон. Всё, что несёт веремие – неизменно. Находят люди новое – выражают его словами, складывая новое понятие из существующих, а если не находят слов, то называют так, как чувствуют... В том и мудрость вся. Всё объяснено давно. Кто не додумал ещё, у того мало слов в языке, кто понял, у того язык тяжелее. Только стали забывать смысл того, что говорим... Оттого и разлад.

– Деда, деда... – тряс его за шею Илюха. – Ты заснул что ли?

Очнувшись от своих грёз, дед опознал перед собой широко раскрытые глаза внука, увидел их тревогу и возбуждение, ощутил холод мокрых ладошек, сжимающих его шею.

– Деда, я подумал, что ты устал двигаться и умер!

– Не бойся так за деда, внуче. Когда дед перестанет двигаться и умрёт, он всё равно останется.

– А где ты останешься? Я хочу к тебе приходить.

– Тебе не нужно будет никуда приходить. Я останусь в тебе.

Солнце светило всё так же, ласточки живыми пулями взлетали над речкой и бросались вниз, а вода безмолвно текла... Обняв за спину мокрого внука, грея его своим теплом и чувствуя биение маленького сердца, на песке берега сидел старик. В русском языке слово «счастье» образовано из двух слов и обозначает «соединение с чем-то большим, частью чего являешься».

И так оно и было.

4. Рубцы

Глухой звук ударов далеко разносился в упругом холодном воздухе. Едва уловимый запах свежей древесины чуть пьянил. Светло-жёлтые щепы, словно буквы, осыпались на коричневую поверхность слежалой осенней листвы, не складываясь, однако, в слова и мысли. Сашка второй день рубил этот высокий ясень.

Ветер не спеша шелестел последними листками уходящего года, а скупое осеннее солнце ещё изредка выглядывало из-под монолитного небосвода, но, поживившись, всякий раз пряталось обратно... Сашка тоже никуда не спешил. Батя задумал расчистить под посадку пространство за огородом ещё в прошлом году, но как-то всё было некогда. Наконец, пару недель назад, когда чуть подсохла от холода размокшая осенняя почва, нехотя взял топор, и, позвав своего десятилетнего сына, принялся зачищать. Он показал, как подрубать корни молодняка, чтоб они вытаскивались целиком, как грамотно оприходовать густой шиповник, не царапаясь, и что делать с высокой травой, мешавшей работе.

«Дальше сам. Без нужды не рви. Найдёшь свой ритм – и работа поплывёт будто, сам не заметишь, как всё сделаешь», – подытожил он.

Лесопосадка, простиравшаяся сразу за огородом, представляла из себя густую поросль самых разных пород: ивы, вербы, ясеня, ольхи, шиповника, крапивы и даже одичалой малины. Весь её вид говорил о том, что она является смешением чего-то различного, являясь пограничным участком между лесом, сельскими огородами и защитными насаждениями железной дороги, проходящей невдалеке. Хаотичный участок ничейной земли, нечто переходное и вынужденное между системным и стихийным, между культурным и диким – как и само время, в котором он произрос. Шёл нелёгкий 1992-й.

Уже не первый год страна вместе с холодами чувствовала и ледяное дыхание рыночных отношений. Народ привычно ходил на работу, но более из желания сохранить систему, чем ради заработка, зарплату же каждый месяц подьедала гиперинфляция. Многие из тех, кто не нашёл в этом смысла, беспробудно пили. Деревня загрубела, потекла крышами и стала пустеть. Редкий стук калитки да весёлые шлепки по лужам всё чаще создавали ошалевший от безлюдья ветер и грустный молчаливый дождь... Некому было петь и не с кем играть... Молча покуривая по утрам с кружкой тёмного чая и ёжась по вечерам у экранов телевизоров, брошенная Русь очередной раз подумывала о том, чтоб потянуться к топору. Однако в этот раз её генетический порыв был разрешён в бескровном смысле. Недавние ожидания лучшей жизни ещё тлели в душах угольком надежды, а упрямство продолжало шептать о правильности сделанного исторического выбора. Извечная вера Руси в справедливость осаживала горячие головы и принуждала ждать. Те, кто ждать уже не мог, приспособивались... Кто-то рубил медные кабеля и сдавал пережжённый «цветмет» перекупщикам, кто-то валил лес, отправляя кругляк «за бугор», а кто-то, как и Сашкины родители, просто расширял огороды, чтоб

хотя бы не голодать зимой. А там как-нибудь... «Ну, вот тебе и взрослая работа, помощник. К весне успеешь», – сказал батя, бросив плашмя к Сашкиным ногам топор.

Приняв поручение со всей ответственностью, Сашка после школы приходил и потихоньку расширял этот первый просвет среди сплошных зарослей. Шла вторая неделя работы. На поляне уже высились аккуратные кучи порубленного кустарника и молодняка – летом они будут сожжены. В начале участка появился штабель длинных жердей, годных на ограду и столбы. Кое-где бессистемно лежали обрубки толстых стволов, которые Сашка не смог откатить в одиночку. Посреди этого пространства, как александрийский столп, ещё не осознав наступившего одиночества, простирал ветви к небу высокий ясень.

«Красивый», – мелькнуло в голове.

Вокруг стояла тишь, не нарушаемая ни шорохом мёртвой листвы, ни звуками ещё живой деревни. Белёное небо разгладилось, одарив неуверенной тенью. Можно было даже сказать, что сама природа и весь окружающий мир вдруг замерли, решив посмотреть на нечто необычное среди повседневной скуки. Но Сашка не думал об этом. В предыдущие дни он уже подступал к этому ясеню, но, пару раз ударив, ощущал, что нахрапом его не взять. «Серьёзный соперник», – понимал он и возвращался к расчистке поляны. Сегодня, наконец, придя пораньше, сняв свитер и утоптав землю вокруг дерева, он приступил. Первые удары шли легко, но, лишь только углубившись в толщу, Сашка понял, что работа замедлилась. Сколы стали коротки и широки, а звук ударов – звонким и размеренным. Удар, ещё удар. Удар. Ещё удар. «Надо же! Будто не берёт его ничто... По крошке снимается... А другого пути нет. Надо терпеть», – подумалось Сашке. В монотонном ритме потёк этот поединок взрослого дерева и маленького человеческого существа. Тусклое осеннее солнце, не желая смотреть на происходящее, безмолвно поспешило закончить день. Ещё некоторое время в темноте раздавались удары, но скоро стихли.

Дома, садясь ужинать, Сашка посмотрел на свои натруженные руки и положил на стол. Заметив это, мама нежно взяла их в свои, и, развернув наружу, с улыбкой провела пальцем по набухшим подушечкам. Они посмотрели друг другу в глаза... Сашкины руки никогда не были избалованы мягкостью и уже имели мозолистые уплотнения, приобретённые частым обыденным сельским трудом, но за последние дни сильно зашероховались и даже огрубели от постоянной работы и холодного воздуха.

«Женщина полюбит тебя за твои руки», – теребя его ладошку, вдруг сказала мама.

Подняв вопросительно брови, Сашка глянул на маму, но, смутившись, не стал ничего спрашивать...

«Потому что эти руки всё будут делать, но при этом молчать», – с улыбкой ответила она на его немой вопрос.

Сашка заметил, как, чуть шмыгнув носом, она отвернулась... В глазах мелькнула искра слезы.

Следующий день начался как обычно. Школа, обед, полчаса на кроликов и кур, и вот – снова этот ясень. Сашка оглянулся вокруг – вроде другой работы пока не требуется... Перекинул в руках топор, провёл пальцем по лезвию – вроде подточил уже... Зияющая выемка на стволе была не так уж и велика – за весь предыдущий день углубился лишь сантиметров на десять, и это только с одной стороны! Сильное дерево. И корни мощные. Это сколько ж пень корчевать придётся, если только рубки неделя? Ну, что делать? Ладно. Поехали!

До самой кромешной тьмы ритмичный звук ударов доносился с края огорода... При взгляде изда- лека ещё некоторое время было видно, как маленький человеческий силуэт монотонно покачивается возле могучего древесного ствола, не сбавляя темпа, упорный в своём постоянстве, в желании победить, но скоро и эта картина наглухо затушевалась пасмурной осенней мглой. Оказалось, что этот поединок, как и любой другой – прежде всего поединок с самим собой, и подросток быстро понял это, отбросив мысли и смиряясь с неизбежностью. Через некоторое время дыхание выровнялось, время превратилось в течение спокойной реки, а стук ударов слился с биением сердца. В сознании возник размеренный диалог. Почему мама плачет? «Тук, тук». Кем я стану, когда вырасту? Сколько росло здесь это дерево? «Тук, тук». А почему я пришёл и рублю? Почему всё умирает? «Тук, тук, тук». Неужели всё умирает так же, без причины? Распаренное тело Сашки, найдя свой ритм, не прося и без стопа, вело с самим собой беседу, точно и спокойно делая заданную работу. Сашка и не заметил, как вечерний ноябрьский воздух стал колким, забираясь в тёплые пазы распахнутой рубахи, а жаркие выдохи проявились вдруг белым дымком...

Тьма скрыла их. Никто не помнит, во сколько Сашка пришёл домой и лёг спать... Когда утро, наконец, очертило контуры всего сущего, Сашка не встал в школу... Да и вообще не смог встать. Мутное марево перед его глазами кричало и обрушивало вдруг в бездонную тьму. Воспалённое сознание бросало в жар и внезапно обливало ледяным потоком. Сашка болел. Тягуче, болезненно, сильно. Болел.

Но не только он болел этим пасмурным утром... Вся огромная страна, ещё менее года назад бывшая единой, билась в агонии и в бреде, не в силах подняться. Корёжась в тихом стане, она полыхала огнём на окраинах и замерзала в холоде серого бетона пятиэтажек. Жар пожирал её изнутри, скованную ледяным страхом и внешним равнодушием. Молодые республики, ещё только успев провозгласить суверенитет, уже заряжали обоймы, собираясь выпустить их друг в друга. Страна болела... Жесточайшая резня русских, междоусобица в среднеазиатских республиках, масштабная война между почти всеми этносами вспыхнувшего Кавказа, беспочвенное братоубийство в Приднестровье – холодная осень 1992-го оказалась крайне горячей. Гиперинфляция, конституционный кризис, дефицит. Голод, бартер, шоковые реформы... И ещё много-много непривычных, непонятых слов пронеслось по стране, сея всполохи страха. Всё, что жило и дышало на огромном пространстве великой страны, вдруг поняло, что худшее ещё впереди, и, перекрестившись, приготовилось ждать.

Посреди опустевшей поляны одиноко стоял высокий ясень... Лучи солнца поблёскивали на плёнке засохшей бесцветной крови зияющей раны его могучего тела. Никто не явился сегодня на поединок с ним, и казалось, что это дело может остаться таким же незавершённым, как и многое другое, начатое в том нелёгком году.

Но это противостояние уже не могло не разрешиться. Всё вокруг было надорванным и больным. Само мироздание, поняв, что натворило, готовилось безропотно начать выдачу своих бессмысленных жертв. Глубоко-глубоко, там, где нет места даже сознанию и мыслям, там, где безраздельно царствуют сны и невыраженная навь – началась совсем другая борьба.

К людям всегда во сне является самое яркое из пережитого накануне. И ясень не мог не прийти... Он явился пред Сашкой, простирая руки к небу и зывая к ответу. Но уже не требовал диалога... Мечь, священная и первобытная, бушевала над ним, упиваясь вседозволенностью. Все удары, нанесённые ясеню, теперь болезненно возвращались обратно. «Тук, тук, тук», – хлопало откуда-то изнутри. Могучее дерево властвовало в бескрайнем пространстве восприятия, то притягивая, то удаляя на тысячи километров и лет удивлённое сознание ребёнка. Высокие тугие ветви возносили Сашку над землёй, а потом вдруг клали вглубь мокрой почвы, неотвратимо смыкающейся прямо поверх глаз и ноздрей. Сашка задышался и силился разодрать глаза...

«Тук, тук, тук...» – слышалось издалека. Длинные, кривые руки покачивались над ним, будто прощаясь. Густым дождём с неба падали жёлтые щепки...

Мрак накрыл маленького человека. Время превратилось в тягучую болезненную явь, то растягиваясь, то сжимаясь, а боль, сплетаясь в тугой узел, взрывалась вдруг язвительным звонким смехом, заставляя дрожать и искривляться то, что могло себя осознавать в этот момент. С белого мутного неба который раз уже падал сухой тонкий лист, так и не коснувшись земли... Сашка понял, что он и есть этот лист.

«Лихорадит ребёнка. Надо жар сбивать», – констатировал очевидное пожилой фельдшер, держа его горячее лицо своими ладонями. «Нету антибиотиков. В городе только», –

добавил он. «Отвар надо сделать – кора ясеня и лист смородины, два к одному. Потом шиповник – отдельно. Ну, и таблетки, какие есть... Пробуйте».

В тот день было очень мало слов. Мама носилась вокруг с градусниками, тазиками, таблетками, но навряд ли Сашка ощущал из этого хоть миг... Полчаса сидел на кухне, покручивая в пальцах сигарету, отец, а потом молча вышел.

Кора. Узловатая, глубокая, тёмная. Изрезанная реками трещин и вершинами наростов, увенчаных, будто снежными шапками, островками неубиваемой седой плесени... Это растрескавшееся лицо земли, покинутой жизнью. Пустыня, в которую медленно стала превращаться огромная, великая страна... Ещё кочевали по ней все известные формы жизни, ещё текла по иссохшим впадинам влага, но какая-то часть этого пространства уже была обречена... Смяв в сильных ладонях древесную плоть, батя медленно стал крошить кору в сосуд...

По бессознательному, наконец, поплыли голые ветвистые кроны... Серое-серое небо и молчаливые стражи деревьев, охраняющие скорее не его, а саму бесконечность... Шорох холодного воздуха,

скрип колеса... Сашка понял, что он снова родился – это всего лишь коляска, и он катится сейчас в ней, коконом, по осеннему тротуару. И где-то рядом мама и её тёплые руки. И стоит лишь потерпеть вновь, прожить жизнь – и всё снова вернётся к тому, где оборвалось... Ясень, кажется, не стал забирать его, и сейчас ветвями своих собратьев лишь бодро помахивал вслед... «Ступай, Сашка...»

«Тук, тук, тук», – далёкий стук превратился вдруг в мягкое и уверенное биение собственного сердца. Стало тепло и спокойно. Кто-то, сильно нажав, разомкнул его рот, и влилась терпкая микстура. «Деревья, пап, я сам, пап... Деревья...» – шептал в бреду Сашка.

Они стояли на пустой поляне вдвоём. Отец и сын. Спокойный, обращённый вниз, взгляд отца говорил о том, что он доволен сделанной работой и не требует большего. Прошла неделя после того, как Сашка был здесь последний раз, и сегодня, когда немного окрепший ребёнок встал пораньше, одел рабочее и побрёл в огород, батя, поняв, куда тот направляется, решил пойти тоже. Более, чтоб оградить от лишней работы, а не наоборот. На поляне было чисто и светло, ровные горки порубленной растительности аккуратно были рассортированы. Жерди – отдельно, ветви и кустарник – отдельно, небольшие брёвна – тоже. Обрубки молодых деревьев были подкопаны и надрублены... Советовать было явно нечего.

«Хочешь продолжать?» Сашка кивнул. Батя оглядел его с головы до ног, будто оценивая способность к дальнейшему подвигу... «Будь разумен. Иногда о рвении приходится сожалеть», – произнёс он.

Ясень молча взирал на них со своей высоты. Могучие корни ещё легко качали воду из недр, раздавая её по всему телу. На голых ветвях покачивались небольшие гирлянды семенников, которые ясень ещё рассчитывал пустить по ветру весной. Но сам он был уже обречён. Сашка серьёзно потрудился последний раз. Не менее трети ствола было выбрано по толще, а в середине светло-жёлтого тела уже обнажилось коричневое древесное сердце.

«Лет сорок, наверное? Красивый, – погладив кору и глянув на уходящий ввысь ствол, произнёс батя. – Даже жалко».

Батя был скуп на слова. Никогда ничего не говорил просто так.

Следующие два дня у Сашки пошли слабо. Лишь только взяв топор в руки, он вдруг осознал то, что смутно шевелилось в его душе. Он совершает непоправимое! Живое! Дерево – живое! Оно росло здесь много лет – красивое, мощное, полное сочной жизни, создавая вокруг себя благоприятную среду – и вот кто-то пришёл его убить. Просто так, потому что посчитал это достойным поединком. Убить существо, старше тебя в четыре раза, по простой прихоти! Безмолвное и величественное в своей покорности! Сашке вдруг захотелось, чтоб дерево смогло дать сдачи, отхлестать его или, схватив узловатыми ветвями, бросить на землю. Но ясень молчал, и от этого совесть терзалась всё сильнее. Почему нужно убивать? Зачем я родился? Есть ли во мне смысл? Почему нельзя всё вернуть в прошлое? Одна ли жизнь у меня? А у него? А для чего, вообще, жизнь?

То ли сам Сашка, то ли молчавший до этого ясень – кто-то стал вдруг задавать вопросы... Тяжёлые, как осеннее небо, неудобные, слишком колкие, чтоб их можно было безболезненно похоронить в душе... Они давили и, попадая в душу, распирали её изнутри.

На всём пространстве – от места восхода Сашкиного солнца до места, где оно садилось – больше не было ни одного ответа ни на один вопрос... Люди и правительства выдавали самые неожиданные решения, ведомые страхом или сиюминутной выгодой, часто себе во вред. Бесполезно было искать в этом хоть какой-либо смысл... Царил хаос, и большинство пыталось лишь не оказаться погребёнными под рушащейся громадой великой страны. Когда-нибудь историки и философы найдут причинно-следственные связи, всё обоснуют и объяснят. Назовут это «политической целесообразностью», «исторической неизбежностью» и даже «естественным этапом развития». Но в этом году философы молчали, потому что в происходящем не было ничего естественного и ничего целесообразного, потому что вообще, как оказалось, человеческая деятельность представляет из себя просто череду хаотичных действий, ответных бессмысленному потоку случайностей. В 92-м не стоило ждать смысла ни от человека, ни от правительств. Нет никакой закономерности и предопределённости развития. А даже если бы и была, то масса человеческих нелепостей и страхов давно смела бы её, втоптав в грунт. У мироздания не оказалось цели.

Произошедшие события не развернуть вспять. Невозможно извиниться и вернуть прошлое. Каждое действие безвозвратно. Непоправимо... Ясень больше не противился. Работа теперь шла чрез-

мерно легко. Ещё пару дней Сашка без охоты делал лишь направляющий надруб, со стороны места будущего падения, да и то без конца отвлекался на корчевание нескольких оставшихся пеньков, и наконец, поняв, что делать больше нечего, бросил топор и уселся на бревно. До самого заката он смотрел на свой ясень... Никто не хотел приближать конец. Сашкино сознание пыталось примириться с пережитыми за последние дни чувствами, или хотя бы их осознать. Или попытаться наладить мысленный диалог, задать вопросы... Но ясень молчал.

«Я заметил, с трудом работа пошла? – спросил вечером отец. – Стучишь вяло как-то. Давай завтра подойду, и мы вместе свалим...»

У Сашки всё перевернулось в душе...

«Обречён! Обречён ясень... Что делать? Сам же взялся! Зачем? Пусть бы рос... Жалко-то как»... «Нет, пап, не надо. Я сам, пап».

Наступил новый день. Долго собираясь, растягивая время, Сашка понимал всю неизбежность происходящего. Глупо. Он сам придумал этот поединок и возвёл его на такой высокий принципиальный уровень. Поставил себе зарубку на мозгу, что должен непременно победить это сильное дерево. Зачем? Может быть, батя этот ясень бы и не мешал... А сколько сам пережил уже с этим ясенем? Да и подружился даже, если честно... Теперь уж сам. Теперь нужно завершить начатое. Убить. Дерево. Друга. Собеседника. И всю жизнь знать, что сделал. Сам. Убил. По прихоти. Большое, красивое. Убил. Вот тебе и зарубка.

День уже клонился за середину, когда Сашка пришёл к ясеню... Что-то вдруг поднималось в душе, потом отпускало, хотелось что-то сказать или выразить, но вдруг не находилось слов... Апатия вдруг сменялась возбуждением, а бодрость каким-то тягучим утомлением. Сашка не знал, с чего начинать. Трудно начинать то, что является концом. «Прости меня», – вслух произнёс Сашка и поднял топор...

* * *

Прошло года, наверное, три или четыре... Однажды, принимаясь, как обычно, по весне вскапывать огород, Саша не без удивления заметил, что на пограничном навале в конце участка стали прорастать молодые деревья. Подойдя, он увидел, как из трухлявого, развалившегося тела огромного бревна, потянулись тугие, уже окрепшие, стволы. Из его дерева... Год за годом, лишённые корней и питаемые лишь влагой, какие-то части этого дерева пытались жить. Это было тяжёлое время. Вся страна – поверженная, распавшаяся, сгнившая, стреляющая друг в друга в Чечне и подворотнях, еле подавала признаки жизни. Уже повзрослевший Сашка чуть улыбнулся, вспоминая всю важность и глупость своего первого противостояния, и вдруг почувствовал, как участилось дыхание и вопреки усилиям чуть увлажнились глаза... Странная бессловесная мысль вдруг объединила всё, что было в его жизни, и всё, что должно было произойти.

Годы потекли как река... Разъехавшись по городам и притонам – Сашка, ты, я, да и вообще все, объединённые словом «мы» – сваленные на обочину, брошенные, лишённые корней, но желающие жить – мы росли.

Страна распалась на части, продавала себя первым встречным и закидывалась героинном в надежде забыться, хотя иногда точно также хаотично клеилась вновь, выкупая себя по-дешёвке и собираясь всем миром на поминки и войны. Мы оправдали, наверное, самые худшие ожидания из всех возможных. Не пытались надолго заглядывать в будущее, а к настоящему относились и вовсе небрежно... Старое поколение предпочло умереть, чтоб не видеть собственными глазами наступившую новую реальность, а собственные наши родители часто закрывали глаза на то, кем мы стали, наверняка чувствуя свою вину.

Иногда нас вытаскивали с наших помоек – к очередным выборам и войнам, но тут же старались забыть вновь. Кому-то, наверное, и было жалко, но будущего не было ни у кого.

Нас просто забыли. Похоронили. Оплакали и закопали.

Но не знал никто, что мы – семена.

«Нас похоронили, но оказалось, что мы семена» – испанская пословица.

(Продолжение в следующем номере)